Улитка на склоне

Автор:
Аркадий Стругацкие

Улитка на склоне

Аркадий и Борис Стругацкие

«Улитка на склоне». Самое странное, самое неоднозначное произведение в богатом творческом наследии братьев Стругацких. Произведение, в котором собственно фантастика, «магический реализм» и даже некоторые оттенки психоделики переплетены в удивительно талантливое оригинальное единое целое.

Аркадий и Борис Стругацкие

Улитка на склоне

За поворотом, в глубине

Лесного лога

Готово будущее мне

Верней залога.

Его уже не втянешь в спор

И не заластишь,

Оно распахнуто, как бор,

Всё вглубь, всё настежь.

Б. Пастернак

Тихо, тихо ползи,

Улитка, по склону Фудзи,

Вверх, до самых высот!

Исса, сын крестьянина

Глава первая

Перец

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло – не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда

то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания – тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире…

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

– А чьи же это туфли? – спросил он и огляделся.

– Это не туфли, – сказал Перец. – Это сандалии.

– Вот как? – Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. – Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

– Человек сидит у обрыва, – сказал он, – и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

– Это мои сандалии, – сказал Перец.

– Ваши? – Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. – Значит, вы сидите босиком? Почему? – Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

– Босиком – потому что иначе нельзя, – объяснил Перец. – Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. – Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. – Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком…

– Минуточку!

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

– Действительно, простой камень, – сказал он. – Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя – даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, – а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание… Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

– Итак, вы вчера тоже были здесь, – сказал он. – Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству…

– Вам, наверное, нравится здесь сидеть, – вкрадчиво продолжал Домарощинер. – Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

– А вы? – спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

– А вы не забывайтесь, – сказал он обиженно и раскрыл блокнот. – Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу – мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни… Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. – Он закрыл блокнот и подумал. – Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

– Нет, – сказал Перец. – То есть, конечно, да.

– Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? – спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

– У меня нет пропуска.

– Так. Нет. А почему?

– Не знаю… Не дают вот.

– Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.

– Наверное, потому что я посторонний, – предположил Перец. – Наверное, поэтому.

– И ведь не только я вами интересуюсь, – продолжал Домарощинер доверительно. – Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее… Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

– Это потому, что вы нервный, – сказал он. – Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер поглядел на часы.

– Действительно, пора, – сказал он. – Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то… не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

– Ох, да отойдите же вы от края! – страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом. – Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

– Уже все, – сказал Перец, притопывая. – Больше не буду. Пошли?

– Пошли, – сказал Домарощинер. – Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? – Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. – Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

– Так а что отвечать? – сказал Перец. – Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарощинер замер, словно застряв в кустах.

– Ах, вот как это у вас делается, – сказал он изменившимся голосом.

– Что делается? Ничего не делается…

– Нет-нет, – шепотом сказал Домарощинер, озираясь. – Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

– Что вы поняли? В чем это я прав?

– Нет-нет, я ничего не понял. Не понял – и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

– Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне, – говорил Домарощинер. – И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права…

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они

в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

– Вы поосторожнее ногами, – сказал он.

– Я нечаянно, – сказал Перец. – Я же не знал.

– А я знал? – возразил шофер Тузик. – Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

– Ну, я, например, вообще не пью, – с достоинством сказал Домарощинер. – Так что ко мне это вообще не относится.

– Знаем мы, как вы не пьете, – сказал Тузик. – Так-то и мы не пьем.

– Но у меня печень больна! – забеспокоился Домарощинер. – Как вы можете? Вот справка, прошу…

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

– Это самая последняя, – сказал он. – А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

– Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. – Он вытер рукавом глаза. – Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

– Ну-ну? – жадно спросил Перец. – Как так – прыгают?

– А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

– Почему? – спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

– Почему оно прыгает? – спросил он.

– Потому что называется: прыгающее дерево, – объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

– Вчера прибыла партия новых электропил, – сообщил Домарощинер, облизывая губы. – Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир – из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

– А потом меня вызывает менеджер, – продолжал Тузик в повышенном тоне, – и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит… Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

– Х-хорошо, – упавшим голосом произнес Перец. – Я попробую. Только как же это он… машину?

– С менеджером могу поговорить я, – сказал Домарощинер. – Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

– Потом еще есть русалки, – сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром. – В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

– Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, – сказал Домарощинер.

– А я их сам и не видел, – возразил Тузик, поднося стакан к губам. – Но воду из этих озер пить нельзя.

– Вы их не видели, потому что их нет, – сказал Домарощинер. – Русалки – это мистика.

– Сам ты мистика, – сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

– Подождите, – сказал Перец. – Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат… А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

…Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать – и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу…

– Ты со мной не спорь, – сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор. – Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

– И глупо, – сказал Домарощинер. – Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

– Я сам этих русалок не видел, – повторил Тузик, обращаясь к Перецу. – Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот

рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

– Если бы погиб, – сказал Домарощинер значительно.

– Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

– Мы слишком мало знаем, – сказал Домарощинер, – чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

– Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение… Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы человек посторонний…

– Какое распоряжение?

– Считать его живым, – гулко прошептал Домарощинер и отодвинулся. – Хороший, свежий кефир сегодня, – произнес он громко.

В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем…»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

– Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

– Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно… Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

– Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

– Вообще, – сказал Тузик, – если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи подымут, вещичек собрать не успеете… Ребята у нас как делают? Первый строгач – и понижают его в должности. Второй строгач – посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач – с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде. – Он показал на Домарощинера. – Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? – выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

– Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все поступки будут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крякнул.

– Это верно, – признался он. – Тут я, пожалуй, действительно… того. Вы уж извините, пан Перец.

– Да нет, что уж… – грустно сказал Перец. – Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

– Так ведь не обязательно же по этой… по морде, – сказал Тузик. – Можно, например, и по этой… по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

– Нет, я так не умею, – сказал Перец.

– Тогда плохо, – сказал Тузик. – Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

– Правда? – обрадовался Перец.

– Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

– Человек должен быть простым и ясным, – сказал Домарощинер. – Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы хотите.

– У меня всегда так, – сказал Перец. – Я всегда делаю наоборот. И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

– Человек должен быть непьющим, – заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца. – Скажешь, нет?

– Я не пью, – сказал Домарощинер. – И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

– Что меня в лесу удивляет, – сказал Тузик, – так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли… Не-ет, лес – это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще…

…Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно. С тем, что оно – производное от нашего мира, плоть от плоти

нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках, – с горечью и со страхом…

– Когда выйдет приказ, – провозгласил Домарощинер, – мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в… э-э… в бетонированную площадку, сухую и ровную.

– Ты превратишь, – сказал Тузик. – Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!». Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

– Ну, я пойду, – сказал Перец. – Работать пора.

– Пора, – согласился Тузик. – Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

– Значит, завтра в семь? – сказал Перец.

– Что? – спросил Тузик сонным голосом.

– Завтра в семь я приду.

– Куда это? – спросил Тузик, ворочаясь на стульях. – Разъезжаются, подлые, – пробормотал он. – Сколько раз я им говорил: поставьте диван…

– В гараж, – сказал Перец. – К вашей машине.

– А-а… Ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «что нас губит» и «только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

– Я хотел руки помыть… – сказал Перец растерянно.

– Помой, помой, – сказал Ким, мотнув головой. – Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

– В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, – сказал Ким. – А ты где был? У Алевтины?

– Нет, я был на обрыве, – сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула

дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕСА». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, – игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой…

– Ким, – сказал Перец, – неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

– А ты действительно хочешь туда попасть? – спросил Ким рассеянно.

…Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни…

– Не знаю, – сказал Перец.

– Тебе туда нельзя, Перчик, – сказал Ким. – Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

– Наверное, – сказал Перец. – Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

– Зачем тебе горькие истины? – сказал Ким. – Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

– А зачем же я сюда приезжал?

– Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений – извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

– Уехать бы мне отсюда, – сказал Перец. – Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

– Давай умножать, – сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

– Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать…

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

– Так. Погаси, – сказал Ким. – Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать…

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.

– Двенадцать на десять, – сказал Ким. – Умножить.

– Один ноль ноль семь, – механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: – Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

– Знаю, знаю, – нетерпеливо сказал Ким. – Один ноль ноль семь, – повторил он. – А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь…

– Сейчас, – сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

– Какое же это все-таки чудо – лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса по существу не ведется. О лесе говорят и думают черт те что…

– Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, – сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный – «мерседеса» не стало слышно.

– «Живем как в лесу»… «Лесные люди»… «Из-за деревьев не видно леса»… «Кто в лес, кто по дрова»… Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

– Так я ведь там никогда не был, – сказал Перец.

– Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами…

– Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, – сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос:

– Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики… Или какая там у вас тема диссертации?

– У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», – сказал Перец. – Боюсь, что…

– Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков – простите меня за неудачный каламбур… Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса…

– Я не исследователь леса, – сказал Перец убедительно. – Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

– Да, – говорил он. – Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается – формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности… Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете,

об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам… Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

– Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

– Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

– Не надо, – сказал Перец. – Не надо!

– Надо! – сказал Проконсул, глядя ему в глаза. – Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

– Паутина какая-то, – сказал Перец. – Что я им – муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже…

– Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, – сказал Ким.

– Но я не могу здесь больше!

– Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два…

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать – это не развлечение, а обязанность…

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

– Из леса кто-то, – сказал Ким. – Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, и Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно – через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз…

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

– Ким, – сказал он. – Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

– Кимушка, – заискивающе сказал Стоян. – Я ведь тебя умоляю.

– Пошел вон, – сказал Ким. – Маньяк.

– В последний разочек, – сказал Стоян. – В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

– Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

– Что ты ежишься? – спросил Ким со злостью. – А ну-ка повернись!

– Опять подхватил? – спросил Стоян, поворачиваясь. – Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

– Здравствуй, Перчик, – говорил он. – Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать… В самый разнаипоследнейший. – Он развернул бумагу и показал Перецу букетик ядовито-зеленых лесных цветов. – А пахнут-то как! Пахнут!

– Да не дергайся ты, – прикрикнул Ким. – Стой смирно! Маньяк, шляпа!

– Маньяк, – с восторгом соглашался Стоян. – Шляпа. Но! В самый разнаипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

– Все, – сказал Ким. – Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

– Убираюсь, – сказал Стоян. – Немедленно убираюсь. А то ведь, знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли…

– Еще чего! – сказал Ким. – Нечего там Перецу делать.

– Как это нечего? – вскричал Стоян. – Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала – ну ладно, ну что поделаешь… А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками – что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

– Ну? – сказал Ким.

– А Квентин все утро плакал…

– Это я все знаю, – перебил его Ким. – Я не понимаю, при чем здесь Перец.

– Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты… Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

– Хватит! – сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. – Убирайся работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

– Всё, – торопливо сказал Стоян. – Всё. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала…»

Ким взял веник и смел всё осыпавшееся в угол.

– Безумный дурак, – сказал он. – И Рита эта… Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью…

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

– Перец, – сказал Ким, – а зачем ты был утром на обрыве?

– Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

– Директор, – задумчиво сказал Ким. – А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело…

– Все равно я завтра уеду, – сказал Перец. – Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

– Не ожидал, не ожидал, – продолжал Ким, не слушая. – Очень смело… Может, действительно послать тебя туда – разобраться?

Глава вторая

Кандид

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

– Ты уже больше не спишь?

– Нет, – ответил он.

– Давай тогда поговорим, – предложила она. – А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

– Давай.

– Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

– Не знаю, – сказал он. – Скоро.

– Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог…

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево – с грибницей, слева направо – порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговорить со мной, это очень важно – никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит…

– …И получилось так, – говорила Нава, – что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего… Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть…

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы

да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем, понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

– Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много – и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. – Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись ответа, он продолжал: – А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и всё везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут… Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похож. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

– Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

– Почему нельзя? – спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

– Эх ты, Молчун, – сказал он. – Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

– А тебе-то какое дело? – крикнула Нава. – Что ты все допытываешься?

– Кричит, – сообщил старец. – Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: не желательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно – это еще неизвестно, а уж что нельзя – то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» – это самое что ни на есть нежелательное…

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

– Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» – вредно…

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали – были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей…» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

– Садись, – сказал он Кандиду приветливо. – Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

Опять, подумал Кандид, опять все сначала.

– Что, опять разболелась? – спросил он, усаживаясь.

– Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

– Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

– Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю – мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.

– До Глиняной поляны мы дойдем, – согласился Кандид. – А вот дальше как?

– Куда дальше?

– Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

– Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней…

Кандид дослушал и сказал:

– До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

– До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню… Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо – пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа… Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем…

Кандид дослушал и сказал:

– Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. – Колченог внимательно слушал и кивал. – А надо мне в Город, – продолжал Кандид. – Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться, – подумал он. – Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, – повторил он вслух. – Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше – пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

– Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. – Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. – Так тебе же не в Муравейники, – сказал он. – Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет», – подумал Кандид. Он наклонился набок и подкатил к себе горшок.

– Хороший какой у тебя горшок, – сказал он. – И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки… Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

– А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти… Да… Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы – это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить нужно про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

– А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? – спросил Кандид. – Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься…

– Мертвяков я не боялся и не боюсь, – возразил Колченог. – Я тебе скажу, чего я боюсь: как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь… Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать…

– Нет, Колченог, я не мертвяк, – сказал Кандид. – Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

– С Кулаком я не пойду, – решительно сказал Колченог. – Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

– Послезавтра, – сказал Кандид. – Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

– Вшестером дойдем, – уверенно сказал Колченог. – Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

– Хорошо, – сказал Кандид, поднимаясь. – Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню.

– Заходи, – сказал Колченог. – Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит – сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей

вот только у нее нет, ну да еще будут, молодая она у тебя…

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

– В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен…

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином… Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле…» Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом носом к носу.

– А-а, Молчун! – радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. – Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать…

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу.

– Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, – продолжал Слухач убедительно. – Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову:

землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал траву на площади побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь…

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:

– На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые… Отодвигается все дальше и дальше на юг… Победного передвижения… Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких… Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения на… Во всех поселениях… Большие победы… Труд и усилия… Новые отряды подруг… Завтра и навсегда спокойствие и слияние…

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже… Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя… Спокойствие и слияние – понимать же надо… И у нас, значит, тоже, раз во всех… И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

– О чем это я? – сказал он. – Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя…

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно – то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

– Чего, шерсть на носу, касаешься? – прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. – Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки – за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу…

– Идешь? – коротко спросил Кандид.

– Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти – старуха выносить не желает, а сам я на это уже смотреть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет… Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу… Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь…

– В Город, – сказал Кандид.

– В Город – другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень – придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя… Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет…

– Выходим послезавтра, – сказал Кандид.

– А чего ждать? – возмутился Кулак. – Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет… Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

– Послезавтра выходим, – терпеливо повторил Кандид. – И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь…

Он не закончил, потому что на поле закричали.

– Мертвяки! Мертвяки! – заорал староста. – Женщины, домой! Домой бегите!

Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» – и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! – покрикивал староста. – Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза…» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» Связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут… Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять… Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загугукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные – должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. «Ну, все, – сказали в цепи, – не устояли, сейчас вывернутся…» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта – они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь… – повторял каждому староста. – На площади собрание будет, так что идти надо на площадь…» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не было видно. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

– А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет… Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет… Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет,

это все этот старый пень выдумывает слова разные – Город, Одержание… А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет…

– Я завтра с утра на Выселки иду, – сказал Кандид. – Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь…

– Напомню, – пообещал Кулак. – Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена – выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся ребятишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно – подальше от горячих солнечных пятен, – дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках – нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это оттого, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит…

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

– Спать дома будете, – сказал он, – на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. – Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. – Вот это и есть наше общее «нельзя». – Он пригладил волосы и сообщил: – На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись… А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем… Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню… Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим… Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки – пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун он хоть и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уже сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Молчун в Город идет – значит, Город есть, а раз есть, то какая же может быть война – ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет… Молчун потому и идет в Город,

что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние?.. Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет… Так и Одержания уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь:

– Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите, потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда встал взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите… Начинать спор снова ни у кого уже не было сил – обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

– Так когда же идем? – спросил он. – Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь… Не пойдешь – так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду…

– Послезавтра выходим, – сказал Кандид. – Пищу ты приготовил?

– Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду… Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест и где он

живет? Я – человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его потому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит – и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили… И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, а горшки никогда обратно не возвращает… Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается…

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался – из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач – никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он наконец удалился.

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки… И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много… занятно… На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид… Завтра с утра на Выселки… парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города не дойти… Он не заметил, что вошел в дом.

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

– Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал – везде уже обедают, а у вас пусто… Потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора…

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

– Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираешься и добраться не можешь… Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать…

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опомнился.

– Только вот еды вы на меня взять не забудьте, – сказал он вслед Кандиду. – Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»…

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. И все-таки послезавтра я ухожу, подумал он. Вот бы что мне не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, послезавтра.

Глава третья

Перец

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

– Вам чего? – шепотом спросил Перец.

– Очистить надо, – тоже шепотом сказал человек.

Да это же комендант, с облегчением подумал Перец.

– Почему очистить? – спросил он громко и приподнялся на локте. – Что очистить?

– Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

– А вы не озирайтесь, – сказал комендант. – Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны…

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека – и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

– Давай, давай, – сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку. – Белье, говорят…

– Да что же это, – проговорил Перец. – Обязательно сейчас? Ночью?

– Срочно.

– Господи, – сказал Перец. – Вы не в своем уме. Ну хорошо… Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

– Ремонт, – сказал он наконец. – Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать на-до… – Голос его окреп. – Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

– Ремонт?

– Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

– Прямо сейчас?

– Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди…

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

– Который час? – спросил он.

– Первый час уже, – сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

– Куда же я пойду? – сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. – Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере…

– Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

– Ну, в дежурке.

– Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

– Ну хоть в кладовой, – сказал он. – В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите…

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

– Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь… Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! – Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо: – У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу… – Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца. – Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, – бормотал он. – Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и

побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги… А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста…

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это…»

– Можно я хоть чемодан у вас оставлю? – спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

– Ни в коем случае! Вы же меня погубите… Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой…

Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

– Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «…будет назад проситься. Не пускать! У него… (неясный зловещий шепот) понял? Ты отвечаешь…» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

– Нет уж, извините, – сказал комендант у него за спиной. – С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень прошу… Жена… Без никаких эксцессов… последствия… Нельзя…» – и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна – круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами… И комендант – добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня… Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего… И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать…» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно… Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза…

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, в какую-то канаву и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

– Проснись, – попросил Перец. – Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое – нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий,

внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить – помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я – один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал…

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

– Они боятся, – сказал Перец. – Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами: верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться… До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг

были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное – каковы всходы? Молчите… Вот ты, как тебя… Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой… Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки… Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера… Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан… А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо…

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки… Другие из вас вселяют неверие

и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но – лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотеки, не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много… То есть не поэтому, а потому что их любят… Тьмы горьких истин нам дороже… Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю… Так вот я и говорю, что есть еще книги… Что?..

– Тише, пусть спит…

– Чем спать, лучше бы выпил.

– Да не скрипи ты так… Ой, да это же Перец!

– А что нам Перец, ты знай не падай…

– Неухоженный какой-то, жалкий…

– Я не жалкий, – пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел вверх.

– И всегда-то он какой-то неприкаянный, – сказала Алевтина, глядя на Переца. – И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет… Что, интересно, такие люди видят во сне?

– А вот что я вижу наяву!.. – сказал Тузик, глядя вверх.

– Что-нибудь новое? – спросила Алевтина. – Никогда раньше не видел?

– Да нет, – сказал Тузик. – Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает – двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруцеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для каран– дашей.

– Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, – сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

– А за позапрошлый год тебе нужно? – спросила Алевтина.

– Мне сейчас одно нужно, – загадочно сказал Тузик. – Вот я сейчас Переца разбужу.

– Не отходи от лестницы, – сказала Алевтина.

– Я не сплю, – сказал Перец. – Я уже давно на вас смотрю.

– Оттуда ничего не видно, – сказал Тузик. – Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты…

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

– Что вы видели во сне, Перчик? – спросила Алевтина сверху. Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

– Что я видел… Какую-то чепуху… Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

– Подержите-ка минуточку, пан Перец, – сказал Тузик. – Я себе тоже налью.

– Так тебе за позапрошлый год нужно? – спросила Алевтина.

– А как же! – сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. – И за позапрошлый, и за позапозапрошлый… Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому – меньше… Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек… – Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. – А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю…

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

– Так что русалочки от меня не уйдут, – сказал Тузик. – Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине – без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

– Господи, что делают, что делают, – сказала Алевтина. – Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

– Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в

кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/arkadiy-i-boris-strugackie/ulitka-na-sklone-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить